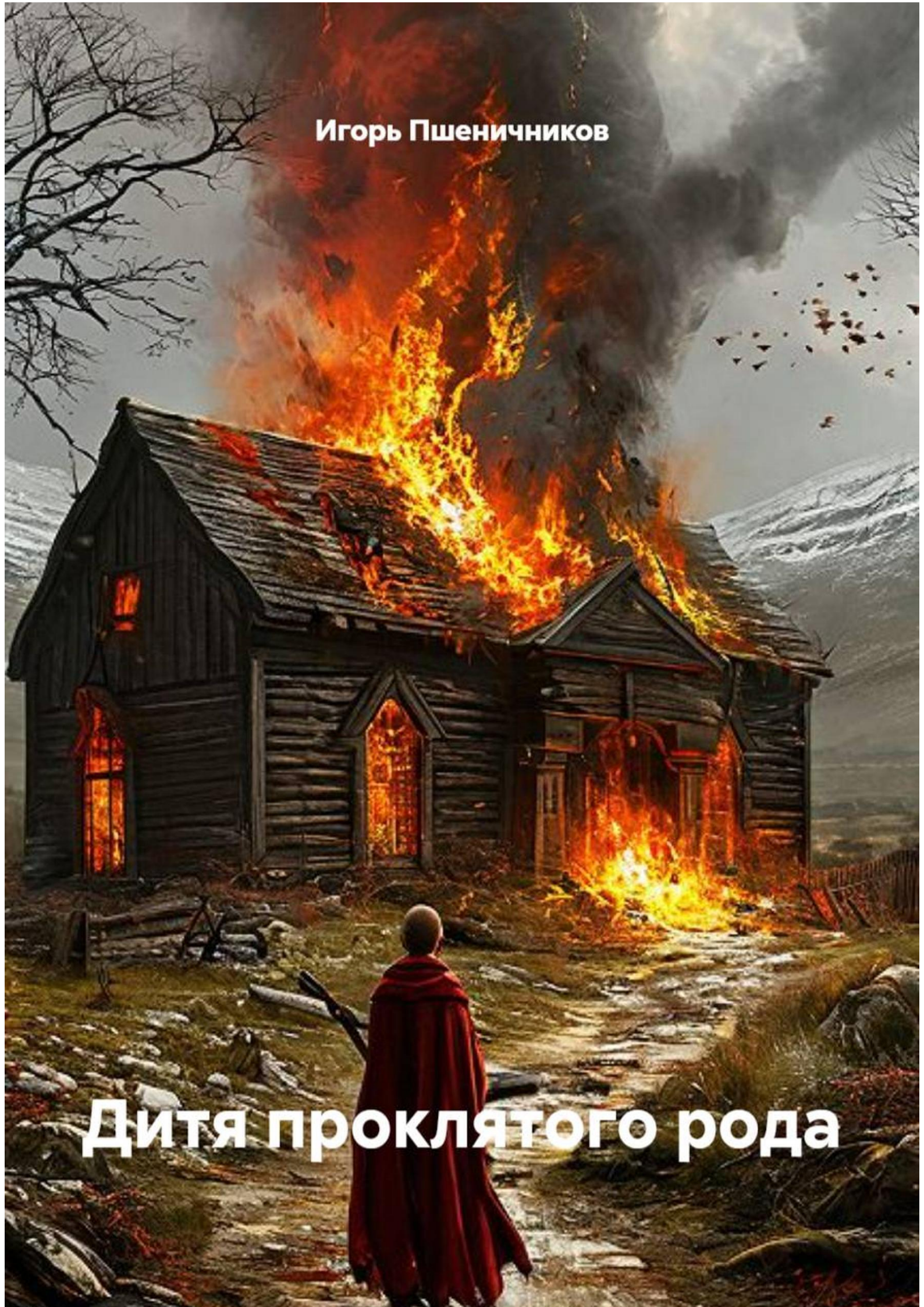


Игорь Пшеничников

Дитя проклятого рода



Игорь Пшеничников
Дитя проклятого рода

«Автор»

2026

Пшеничников И. В.

Дитя проклятого рода / И. В. Пшеничников — «Автор», 2026

Двенадцать лет назад инквизитор Трибунала сжёг дотла родовое имение Кайренов, истребив весь род до последнего человека, — так гласил официальный отчёт. Но один ребёнок выжил, бежал под чужим именем и все эти годы прятался в тихом северном городке, работая приходским писарем и не подозревая, что кровь его семьи хранит в себе нечто большее, чем проклятие. Когда Трибунал вновь берёт след, а в древних, всеми забытых топях начинает просыпаться то, что полтора века назад едва не погубило весь континент, юноше приходится не просто бежать, а вернуться туда, откуда начался его собственный путь, — и встретиться лицом к лицу с человеком, убившим его семью. Вместе им предстоит решить: возможно ли искупление там, где, казалось бы, осталось только пепелище, и какую цену стоит заплатить за то, чтобы удержать древний ужас во сне ещё хотя бы на одно поколение. Роман о цене памяти, тяжести вины и о том, что кровь — не единственное, что определяет человека.

Содержание

Глава	5
Глава 1. Ольвин	7
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Дитя проклятого рода

Эпиграф

Глава

Аннотация

Двенадцать лет назад инквизитор Трибунала сжёг дотла родовое имение Кайренов, истребив весь род до последнего человека, — так гласил официальный отчёт. Но один ребёнок выжил, бежал под чужим именем и все эти годы прятался в тихом северном городке, работая приходским писарем и не подозревая, что кровь его семьи хранит в себе нечто большее, чем проклятие.

Когда Трибунал вновь берёт след, а в древних, всеми забытых топях начинает просыпаться то, что полтора века назад едва не погубило весь континент, юноше приходится не просто бежать, а вернуться туда, откуда начался его собственный путь, — и встретиться лицом к лицу с человеком, убившим его семью. Вместе им предстоит решить: возможно ли искупление там, где, казалось бы, осталось только пепелище, и какую цену стоит заплатить за то, чтобы удержать древний ужас во сне ещё хотя бы на одно поколение.

Роман о цене памяти, тяжести вины и о том, что кровь — не единственное, что определяет человека.

«Земля помнит дольше, чем помнят люди, и прощает реже, чем прощают боги. Но кровь, отданная добровольно, всегда стоит дороже крови, пролитой в гневе, — и потому, если однажды печать вновь ослабнет, ищите не меч, а сердце, готовое отдать себя без остатка».

— из «Летописи Кайрен-Ашера», автор неизвестен,
предположительно составлена в первые десятилетия после Войны Пепла

Действующие лица

Дариан Кайрен (Рен) — последний выживший из рода Кайрен, двенадцать лет проживший под чужим именем в городке Ольвин; носитель редкой родовой магии, способной ценой памяти о себе исцелять раны и удерживать древние печати.

Мерок Вайль — инквизитор Трибунала с тридцатилетним стажем службы; двенадцать лет назад командовал отрядом, уничтожившим род Кайрен; впоследствии становится невольным союзником Дариана.

Мира — дочь настоятеля Гвидо, ближайший друг Дариана за два года его жизни в Ольвине.

Отец Гвидо — настоятель ольвинского храма, приютивший Дариана и не задававший лишних вопросов.

Кассель — молодой инквизитор Трибунала, подчинённый Мерока, постепенно становящийся его доверенным лицом.

Дреган и Сорин — соглядатаи Трибунала, отправленные следить за Дарианом от самого Ольвина.

Хранительница — призрачная последняя стражница древней печати в Кайренских топях, полтора века оберегавшая место, где было запечатано пробуждающееся зло.

Осгард Феллан— Верховный Инквизитор Трибунала, председательствующий на слушании по делу Дариана.

Мерайя — советница Трибунала, настаивающая на принудительном изучении крови Дариана.

Архонт Веларий Дом— старейший член совета Трибунала, тайный союзник Метрока в стенах Цитадели.

Лисса — молодая архивариус Трибунала, помогающая Метроку в поисках архивных доказательств.

Оглавление

Глава 1. Ольвин

Глава 2. Инквизитор

Глава 3. Дорога

Глава 4. След

Глава 5. Керн

Глава 6. Соглядатаи

Глава 7. Развилка

Глава 8. Верховный Трибунал

Глава 9. Порог

Глава 10. Голоса под пеплом

Глава 11. Пробуждение

Глава 12. Руины

Глава 13. Цена печати

Глава 14. Внутрь мглы

Глава 15. Первая нить

Глава 16. Встреча

Глава 17. Хрупкое перемирие

Глава 18. Жертва инквизитора

Глава 19. Медальон

Глава 20. Пробуждение якоря

Глава 21. Печать Основателя

Глава 22. Что осталось

Глава 23. Сорин

Глава 24. Возвращение в Ольвин

Глава 25. Печать Трибунала

Глава 26. Дорога в Верхний Хольд

Глава 27. Зал Дознания

Глава 28. Покои для содержания

Глава 29. Голоса совета

Глава 30. Тени в архиве

Глава 31. Семь голосов

Глава 32. Решающий голос

Глава 33. Дитя своего рода

Глава 1. Ольвин

Дождь в Ольвине шёл так часто, что колокол храма давно потемнел от плесени, а водостоки на крышах заросли мхом толщиной в палец. Дома здесь строили из тёмного камня, добытого в холмах на севере, и от вечной сырости он казался чёрным, будто обугленным — весь городок выглядел так, словно однажды уже пережил пожар и с тех пор не мог отмыться от копоты. Улицы между домами были не мощёными в привычном смысле, а выложены плоскими, неровными плитами того же тёмного камня, между которыми годами скапливалась грязь, утрамбованная тысячами шагов до состояния твёрдого, скользкого от постоянной влаги наста, — и всякий, кто вырос не здесь, поначалу непременно оступался на этих коварных, отполированных дождями плитах, пока тело само не запоминало, куда ставить ногу. Никто уже не помнил, каким был колокол на солнце, как не помнили и того, когда в последний раз небо над Ольвином оставалось чистым больше двух дней подряд. Старики поговаривали, что где-то на юге, за грядой холмов, солнце светит иначе — тёплое, щедрое, золотистое, — но большинство жителей городка воспринимали подобные рассказы с той же снисходительной недоверчивостью, с какой воспринимают сказки о драконах и говорящих зверях: приятно послушать зимним вечером, но проверять на собственном опыте желающих находилось немного.

Рен переписывал долговую книгу в третий раз за месяц — не потому, что ошибался, а потому, что настоятель Гвидо не доверял бумаге, пока чернила на ней не высохнут при свидетеле, а свидетелем неизменно выступал сам Рен, единственный в приходе, чей почерк был достаточно ровным и достаточно быстрым, чтобы поспевать за диктовкой, не превращая страницу в поле мелких клякс. Комната писаря располагалась в пристройке к храму, узкая, как исповедальня, с единственным окном, затянутым бычьим пузырём вместо стекла — сквозь него улица виделась мутным пятном, зыбким, как отражение в воде, и в ясные (то есть редкие, почти праздничные) дни сквозь эту мутную плёнку можно было различить лишь общие силуэты прохожих, а не лица, что Рена вполне устраивало: чем меньше он видел чужие лица, тем меньше чужих лиц запоминало его собственное. Свеча оплыла до половины, воск натёк на стол неровными подтёками, похожими на карту неведомой земли, а вдоль одной из стен, от пола до самого низкого потолка, тянулись полки с приходскими книгами — реестрами крещений, венчаний, отпеваний, долговых записей, десятинных сборов, — вся немудрёная бухгалтерия человеческой жизни, записанная его собственной рукой за два минувших года и рукой его предшественников за полтора века до того. За окном скрипела телега, увязшая в размытой дороге, и возница ругался на мула так витиевато, что Рен, не поднимая головы, различил в этой брани по меньшей мере три оборота, которых не слышал прежде, — небольшое, почти невольное развлечение в череде одинаковых, вымеренных до последней минуты дней.

Рен не поднял головы. За два года в Ольвине он научился не поднимать головы ни на что — ни на крики, ни на драки у трактира по субботам, когда местные парни, перебрав дешёвого сидра, выясняли отношения с той же неизменной регулярностью, с какой дождь сменял морось, ни на редкие разговоры о войне на юге, которые заезжие торговцы вели за кружкой того же сидра, понижая голос на самых важных словах, будто сами боялись быть услышанными не менее его самого. Голова, поднятая не вовремя, запоминается. Взгляд, задержавшийся на чужом лице чуть дольше приличного, оседает в чужой памяти крохотной зазубриной, о которой сам обладатель этой памяти и не подозревает, пока однажды, много лет спустя, кто-то не спросит его: а не видел ли ты, часом, вот такого-то паренька, примерно этого роста, вот с такими глазами? А запомнившийся человек рано или поздно попадает в чужой список — этому его

выучили ещё до того, как он выучился читать по-настоящему хорошо, ещё в те годы, о которых он старался не думать даже наедине с собой, годы, слившиеся в его памяти в один долгий, безликий переход от одного придорожного двора к другому, от одной случайной ночёвки к следующей.

Он давно выработал для себя простые, почти механические правила, соблюдение которых давалось ему теперь не усилием воли, а той же бездумной лёгкостью, с какой человек дышит или моргает: никогда не смотреть в глаза дольше двух ударов сердца; никогда не быть первым, кто заговаривает с незнакомцем; никогда не запоминать вслух ничьего имени, если можно обойтись без этого; сидеть так, чтобы плечи оставались опущены, а не расправлены, — расправленные плечи запоминаются, сутулость забывается вместе со всем прочим, что не бросается в глаза. Он соблюдал эти правила два года подряд с той же тщательностью, с какой Гвидо требовал сверять каждую цифру в долговой книге, — и за два года они настолько срослись с его повседневным существованием, что он уже почти забыл, каково это — двигаться, не думая о том, кто и что запомнит из этого движения.

— Опять сидишь, будто аршин проглотил, — сказала Мира, ставя на угол стола миску с похлёбкой, и голос её, весёлый, чуть насмешливый, разрезал тишину комнаты так же привычно, как разрезал бы её скрип отворяемой двери. От миски шёл пар, пахнувший репой и подгорелым салом — обычный ужин зимнего Ольвина, где свежее мясо было роскошью, а не привычкой, а лук, если он вообще случался на столе, ценился едва ли не выше самого мяса за способность хоть немного оживить неизменную скудость зимнего рациона. Мира была дочерью настоятеля, единственным человеком в городке, который звал его не «писарь», а по имени — и то не всегда правильно, потому что имя, которое он ей назвал два года назад, тоже было не совсем его, а лишь удобной оболочкой, сшитой наспех, как зимний плащ с чужого плеча, который носишь достаточно долго, чтобы он начал казаться собственным, но никогда не забываешь, что чужие нитки держат его швы.

— Работа такая, — ответил он, не отрываясь от строки, хотя цифра, которую он в этот момент выводил на полях, давно расплылась перед глазами в бессмысленное пятно: разговоры с Мирой давались ему легче любых прочих, но и они требовали своей доли внимания, чтобы не сболтнуть лишнего по одной лишь привычке к её обществу.

— Работа такая у всех писарей, а сутулятся не все. У отца Освальда в Керне спина как у стражника, а он тоже книги переписывает, — Мира присела на край соседнего стола, покачивая ногой в стоптанном башмаке, с той непринуждённостью, что позволяют себе люди, никогда всерьёз не задумывавшиеся о собственной безопасности в стенах родного дома.

Он улыбнулся, потому что улыбка была проще ответа. Мира не отставала бы, начини он объяснять, — а объяснить он не мог даже себе, во всяком случае не в тех словах, что нашли бы отклик в её открытом, не знавшем настоящего страха лице. Просто с детства знал: не сутулиться — значит, быть видным. Быть видным — значит, быть узнанным. А узнанным Кайрена быть нельзя, даже спустя столько лет, даже в городке, где самое громкое преступление за зиму — украденная у соседа коза, а самая жаркая распря — спор о меже между двумя огородами, тянущийся уже третье поколение.

Само имя он не произносил вслух двенадцать лет. Иногда, ночью, оно всплывало где-то на границе сна — не как слово даже, а как ощущение чужого взгляда, направленного прямо на него сквозь темноту, — и он просыпался с чувством, будто произнёс его вслух, будто оно уже

слетело с губ и его не вернуть, будто сама темнота комнаты успела услышать и запомнить. Но горло было целым, а комната пустой, и только сердце колотилось так, словно он пробежал через весь городок, а на лбу выступала испарина, высыхавшая долгими, беззвучными минутами, пока он лежал, вглядываясь в темноту потолка и заново убеждая себя, что сон — это всего лишь сон, а не пророчество и не признание.

Похлёбка остыла быстрее, чем он успел до неё дотронуться. Со двора донёсся стук копыт — не телеги, не мула, не тяжёлых крестьянских лошадей, к которым Ольвин привык настолько, что перестал их замечать вовсе. Это был стук верховых, идущих ровным, неторопливым шагом — шагом тех, кому некуда спешить, потому что их и так боялся, кто угодно уступит дорогу сам, стук, отличавшийся от привычного деревенского гула тем особым, почти музыкальным ритмом породистых лошадей, привыкших к долгим переходам и не сбивающихся с ноги ни на раскисшей глине, ни на скользких каменных плитах.

Мира выглянула в окно первой, привстав на цыпочки, чтобы разглядеть что-то сквозь мутный пузырь, прижав ладони к деревянной раме с тем детским, непосредственным любопытством, что не покидало её даже теперь, в её девятнадцать лет, — качество, которое Рен втайне ценил в ней больше многих иных, потому что оно напоминало ему о том, каково это — смотреть на мир без постоянной, въевшейся настороженности.

— Триб

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.